

Максим Козлов

Формула прощения



18+

Максим Козлов
Формула прощения

«Автор»

2026

Козлов М.

Формула прощения / М. Козлов — «Автор», 2026

В мире, где любая боль имеет цену, а прощение стало товаром, работает биржа «Обид». Здесь можно подать в суд на обидчика, получить компенсацию — и ты обязан простить. Этан Морроу — лучший оценщик, человек, который десять лет превращал чужие страдания в цифры. Он очерствел. Он давно не верит в справедливость. Но однажды жертвой становится его собственная дочь, а система, которую он строил, начинает перемалывать его семью. «Формула прощения» — роман о том, можно ли измерить страдание, купить прощение и остаться человеком, когда всё имеет цену. Даже любовь. Даже месть. Даже ты сам.

© Козлов М., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Цена дыхания	5
Кафе «Моцарт»	11
Формула	18
Конец ознакомительного фрагмента.	25

Максим Козлов

Формула прощения

Цена дыхания

Солнце вставало над Городом медленно, словно нехотя. Оно цеплялось за шпили небоскребов, за стеклянные грани башен, за рекламные экраны, которые не гасли никогда. Свет был грязным. Желтым. Как старый синяк.

Я сидел в машине и курил. Окно было приоткрыто, и в щель затягивало воздух — тяжелый, влажный, пахнувший бензином и чем-то сладким, тошнотворным. Кондиционер сдох еще в прошлом месяце. В сервисе сказали — дешевле купить новую машину. Я не купил. Я вообще редко что-то покупал в последнее время. Смысл?

Передо мной на приборной панели лежал планшет. Экран светился тускло, показывая адрес и предварительные данные. Дело номер 47821-В. Убийство. Двое погибших. Мужчина сорока двух лет и его дочь. Шесть лет.

Я затаился и посмотрел на дом через лобовое стекло. Обычный дом в обычном районе. Три этажа, серый кирпич, пожухлый газон. На подъездной дорожке стоял велосипед с розовыми ручками. Маленький велик. Детский.

Я затушил сигарету в пепельнице, которая была полна до краев. Пора.

Вылез из машины. Хлопнул дверью. Звук получился глухим, как будто я ударил подушку. Спина болела. Последнее время спина болела постоянно. Я говорил себе, что это возраст. Мне было сорок семь. Не возраст. Я просто устал.

У входа стоял полицейский — молодой парень с прыщавым лицом и слишком серьезным выражением глаз. Он узнал меня. Они всегда узнают. Моя физиономия примелькалась в полицейских сводках так же часто, как лица серийных убийц. Даже чаще.

— Оценщик, — сказал он вместо приветствия. Не вопрос. Утверждение.

Я кивнул и показал удостоверение. Биржа «Обид». Оценщик первой категории. Этан Морроу. Он отступил в сторону, пропуская меня в дом.

Внутри пахло смертью. Не разложением — тела уже увезли, — а чем-то другим. Тяжелым, застывшим. Как будто воздух впитал последний крик и никак не мог от него избавиться. Я знал этот запах. Я нюхал его десять лет.

В гостиной работали криминалисты. Они снимали отпечатки, фотографировали следы, собирали образцы. На полу, у дивана, было темное пятно. Кровь впиталась в ковер, оставив контур, похожий на карту несуществующей страны. Я подошел ближе и присел на корточки.

— Где именно? — спросил я одного из криминалистов.

— Мужчина здесь. Девочка в спальне наверху.

Я кивнул. Поднялся. Ноги хрустнули в коленях. Когда-то я занимался бегом. Давно. В другой жизни.

Я поднялся по лестнице. Ступени скрипели. На стенах висели фотографии в рамках. Семейные. Счастливые. Мужчина, женщина, девочка. На одной из фотографий они были на пляже. Девочка держала в руках ракушку и смеялась. У нее не было передних зубов.

Я остановился и посмотрел на фото. Шесть лет. У моей дочери тоже выпадали зубы. Я помнил, как она клала их под подушку и ждала зубную фею. Она верила в нее до восьми лет.

Я пошел дальше.

Спальня девочки была маленькой. Розовые обои с бабочками. Кровать в форме замка. На подушке лежал плюшевый единорог. И кровь. Много крови.

Я стоял в дверях и смотрел. Криминалисты здесь уже закончили, но запах остался. Сладковатый, металлический. Запах, который ни с чем не спутаешь.

Я достал планшет и начал делать заметки. Это было ритуальное действие. На самом деле я не нуждался в заметках. Мой мозг уже производил расчеты автоматически, как счетная машина. Десять лет тренировки.

Продолжительность страдания.

Я закрыл глаза. Попытался представить. Девочка просыпается от шума внизу. Крики отца. Она не понимает, что происходит. Ей страшно. Она зовет маму. Но мамы нет дома — по данным отчета, мать была на работе. Она слышит шаги на лестнице. Тяжелые шаги. Чужие. Дверь открывается. Она видит человека. Он ей незнаком. В его руке нож. Она хочет закричать, но голос пропадает. Она забивается в угол кровати, прижимает к себе единорога. Она плачет. Просит не трогать. А потом — удар. Сколько это длилось? Три минуты? Пять? Я открыл глаза и записал: «Ориентировочно 4 минуты 30 секунд».

Интенсивность.

Я снова закрыл глаза. Боль. Ужас. Непонимание. Ребенок не понимает смерти. Для нее это просто темнота, которая вдруг приходит и забирает все. Тепло маминых рук, вкус клубничного мороженого, мультики по утрам, запах травы после дождя, первая учительница, первая любовь, выпускной, свадьба, ее собственные дети — ничего этого не будет. Интенсивность максимальная. 10 из 10 по шкале Файнберга-Ли.

Социальный статус жертвы.

Я открыл глаза и пролистал данные на планшете. Отец — инженер-строитель. Доход выше среднего. Налоговая категория В+. Дочь — несовершеннолетняя, статус определяется по родителю. Потенциальный вклад в общество — неопределен, рассчитывается по среднему показателю для детей данной социальной группы. Я внес цифры. Скучные, бездушные цифры.

Коэффициент необратимости.

Смерть необратима. Это аксиома. Коэффициент всегда равен единице, если речь идет об убийстве. Но даже здесь были нюансы. Преднамеренное убийство, совершенное с особой жестокостью, имело повышающий коэффициент. Я посмотрел на кровать. На кровь. На единорога. И добавил 0,2.

Система расчета была выверена десятилетиями судебной практики. Формула, которую вывели в 2047 году, работала безупречно. Продолжительность страдания, умноженная на интенсивность, умноженная на социальный статус, умноженная на коэффициент необратимости. Плюс судебные издержки. Плюс моральный ущерб родственникам. Получалась сумма. Чистая, объективная, справедливая цена.

Я закончил осмотр и спустился вниз. Криминалисты уже собирались уходить. Полицейский у двери зевал, прикрывая рот рукой. На улице совсем рассвело. Яркий, режущий свет заливал улицу, делая все вокруг плоским и нереальным.

— Закончили? — спросил полицейский.

— Да.

— И сколько?

Я посмотрел на него. Он был молод. Лет двадцать пять, не больше. Он еще не научился скрывать любопытство за профессиональным безразличием.

— Два миллиона восемьсот сорок тысяч, — сказал я.

Он присвистнул.

— За двоих?

— За одного. За девочку. Отец — еще миллион шестьсот.

Полицейский покачал головой. В его глазах мелькнуло что-то похожее на зависть. Или disgust. Я так и не научился различать.

Я сел в машину и поехал в офис. Город проносился за окном — серый, шумный, равнодушный. По тротуарам спешили люди. Каждый из них нес в себе какую-то боль. Обиду на начальника, измену жены, предательство друга, детскую травму, несправедливость мира. Раньше они носили это в себе годами, десятилетиями. Теперь они могли конвертировать это в деньги. Прийти в суд, подать иск, получить компенсацию. И простить. Биржа «Обид» сделала прощение товаром. А я был одним из тех, кто определял его цену.

Я въехал на подземную парковку офисного центра. Лифт поднял меня на тридцать седьмой этаж. Офис «Обид» занимал три этажа. Опенспейс, стеклянные перегородки, много света и зелени. На ресепшене сидела девушка с идеальной улыбкой.

— Доброе утро, мистер Морроу.

Я кивнул и прошел в свой кабинет. Закрыл дверь. Сел в кресло. На столе стояла фотография. Мы с женой и дочерью. Восемь лет назад. Еще до развода. До всего.

Я взял фотографию и посмотрел на нее. Жена улыбалась. Дочь показывала язык в объектив. Я был моложе. У меня были глаза человека, который еще верил, что справедливость существует.

Я поставил фотографию на место. Открыл ящик стола. Внутри лежала фляжка с виски. Я сделал глоток. Потом еще один. Виски обожгло горло и провалилось в желудок теплым комком. Стало немного легче. Совсем ненамного.

В дверь постучали.

— Войдите.

Вошел Райан, мой ассистент. Молодой, энергичный, с идеальной стрижкой и безупречным костюмом. Он пришел в «Обид» полгода назад и до сих пор верил, что мы делаем мир лучше.

— Мистер Морроу, у вас назначено на десять. Дело Симмонс. Изнасилование.

— Помню, — сказал я.

— Предварительные материалы готовы. Я скинул их на планшет.

— Спасибо.

Он помялся в дверях.

— Что-то еще?

— Нет. То есть да. Я хотел спросить... Как вы это делаете? Каждый день. Смотрите на все это. И не сходите с ума?

Я посмотрел на него. Он был искренен. Он действительно хотел знать.

— Я давно сошел с ума, Райан. Просто научился с этим жить.

Он кивнул, как будто понял, хотя явно не понял ничего, и вышел. Я снова взял фляжку.

В десять я сидел в переговорной. Напротив меня сидела женщина. Дело Симмонс. Ей было тридцать четыре года. На нее напали в парке три месяца назад. Она пришла с адвокатом — мужчиной в сером костюме, который говорил слишком громко и слишком уверенно. Сама она молчала.

Я задавал стандартные вопросы. Где. Когда. При каких обстоятельствах. Сколько нападавших. Были ли угрозы. Как долго продолжалось. Она отвечала тихо, глядя в стол. Ее руки дрожали. Она сжимала и разжимала пальцы, словно пыталась ухватиться за что-то невидимое.

Я смотрел на нее и считал. Продолжительность — около 40 минут. Интенсивность — высокая. Физический ущерб — средней тяжести. Психологический — требует дополнительной экспертизы. Социальный статус — С+. Коэффициент необратимости — 0,7 (психика восстанавливается частично).

Я записывал цифры, и каждая цифра была как гвоздь, который я забивал в крышку ее гроба. Потому что она уже умерла — та, прежняя женщина, которая ходила в парк по вечерам и не боялась темноты. Теперь здесь сидела другая женщина, и я должен был оценить разницу между ними.

— Сумма компенсации будет рассчитана в течение трех рабочих дней, — сказал я стандартную фразу.

Адвокат закивал. Женщина подняла на меня глаза. В них было что-то, что я не мог расшифровать. Не надежда. Не благодарность. Скорее вопрос. Как будто она спрашивала: «И это все? Мне заплатят, и я должна буду простить?»

Да, именно так. Вам заплатят, и вы будете должны простить. Таков закон. Биржа «Обид» гарантирует: после оплаты компенсации претензия считается урегулированной. Истец обязуется прекратить испытывать негативные эмоции по отношению к ответчику. Если истец нарушает обязательство — штраф до 30% от суммы компенсации плюс уголовная ответственность за мошенничество. Все просто. Все справедливо. Все по закону.

Они ушли. Я остался в переговорной один. За окном плыли облака. Я сидел и думал о том, что женщина из дела Симмонс никогда не простит. Деньги получит, распишется в документах, наденет дежурную улыбку для камер. Но прощения не будет. Оно останется где-то глубоко, как заноза, которую нельзя вытащить деньгами.

Я знал это, потому что за десять лет работы не встретил ни одного человека, который действительно простил. Они все ввали. Они все притворялись. Они все ломались внутри и продолжали носить свою боль, просто теперь она была оплачена.

Я вернулся в кабинет. На планшете уже висело новое дело. Дорожная авария. Смертельный исход. Я открыл файл, пробежал глазами по строчкам. Мужчина, тридцать восемь лет, сбит на пешеходном переходе. Виновник — пьяный водитель. Двое детей остались сиротами.

Я начал расчет. Это было просто. Это было механически. Это было то, что я делал лучше всего.

Вечером я поехал в бар. Тот же самый, что и всегда. «У Джо». Маленькое заведение на углу Сорок третьей и Лексингтон. Деревянная стойка, тусклый свет, старое пианино в углу, на котором никто не играл. Джо знал мой заказ. Виски. Двойной. Без льда.

Я сел за свой обычный стул в конце стойки. Закурил. В баре было почти пусто. Какой-то старик в углу пил пиво и смотрел в стену. Молодая пара за столиком у окна о чем-то шепталась, держась за руки.

Я смотрел на них и думал о том, что они счастливы. Сейчас они счастливы. Но пройдет год, два, десять — и один из них обидит другого. И тогда они придут к таким, как я. И я посчитаю их боль.

Бармен поставил передо мной стакан.

— Тяжелый день? — спросил он.

— Обычный.

Он кивнул и отошел. Он никогда не задавал лишних вопросов. За это я его и ценил.

Я пил виски и смотрел на свое отражение в зеркале за баром. На меня смотрел уставший мужчина с мешками под глазами и сединой на висках. Мужчина, который разучился удивляться. Который разучился сочувствовать. Который превратился в живой калькулятор.

Когда-то я был другим. Когда-то я верил в справедливость. Я пошел в эту профессию, потому что хотел помогать людям. Потому что думал: если нельзя отменить боль, можно хотя бы компенсировать ее. Дать людям что-то взамен. Дать им возможность закрыть дверь и идти дальше.

Первые несколько лет я плакал. После каждого дела. После каждого осмотра места преступления. Я приезжал домой, закрывался в ванной и рыдал, как ребенок. Жена не понимала. Она говорила: «Ты должен быть сильным». Я пытался. А потом перестал плакать. Просто в какой-то момент слезы кончились.

Я допил виски и заказал еще. Потом еще. Когда я вышел из бара, на город уже опустилась ночь. Настоящая ночь — темная, глубокая, без звезд. Звезд в городе никогда не было видно. Их забивал свет рекламных экранов.

Я поймал такси и поехал домой. Вернее, в то место, которое называл домом. Съемная квартира на пятьдесят втором этаже. Две комнаты, минимум мебели, пустой холодильник. Я там только ночевал.

В лифте пахло хлоркой и чьим-то парфюмом. Я прислонился к стене и закрыл глаза. Перед глазами встала картинка: детская спальня, розовые обои, кровать-замок, плюшевый единорог. И кровь.

Я открыл глаза. Лифт остановился. Двери открылись. Я вышел в коридор и направился к своей двери.

В кармане завибрировал телефон. Я достал его и посмотрел на экран. Сообщение от дочери. Первое за три месяца.

«Папа, привет. Мне нужно с тобой поговорить. Это важно. Можно завтра встретиться?»

Я стоял в коридоре и смотрел на экран. Что-то внутри сжалось. Нехорошее предчувствие. Тяжелое, липкое, как страх.

Я написал: «Конечно. Где и когда?»

Она ответила сразу: «В кафе "Моцарт", в 11. Я буду ждать».

Я убрал телефон в карман. Открыл дверь. Вошел в квартиру. Не раздеваясь, прошел на кухню, достал из шкафа бутылку виски. Сделал глоток прямо из горла.

Завтра я увижу дочь. Мы не общались почти год после развода. Точнее, она не общалась со мной. Я пытался звонить, писать, приезжать. Она не отвечала. Я понимал. Я был плохим отцом. Я слишком много работал. Я слишком много пил. Я пропустил ее выпускной, ее день рождения, ее первый концерт. Я был занят. Всегда занят. Чужими смертями, чужой болью, чужими слезами.

А теперь она написала сама. Впервые за год. И у нее важный разговор.

Я сел на пол у окна. Закурил. За окном горели огни города. Тысячи окон. В каждом окне чья-то жизнь. Чья-то боль. Чья-то невыплаченная компенсация.

Я курил и думал о том, что завтрашний день изменит все. Я еще не знал как. Но знал точно. Что-то приближалось. Что-то страшное. Что-то, от чего я не смогу убежать.

Я докурил. Затухил сигарету прямо об пол. Лег на спину и уставился в потолок. Спать не хотелось. Думать не хотелось. Жить не хотелось.

Но я жил. Потому что это была моя работа. Потому что кто-то должен был считать чужую боль. Кто-то должен был превращать страдание в цифры. Кто-то должен был говорить людям, сколько стоит их прощение.

Это был я. Этан Морроу. Оценщик. Человек, который знал цену всему.

Кроме одного.

Кроме цены собственного прощения.

Я закрыл глаза. Уснул прямо на полу. Мне снилась девочка с плюшевым единорогом. Она сидела на облаке и смотрела на меня. И в ее глазах был тот самый вопрос. Вопрос, на который у меня не было ответа.

«Сколько? — спрашивали ее глаза. — Сколько стоит то, что ты у меня отнял?»

А я не знал. Потому что никто не платил мне за то, что я чувствовал. Потому что я сам еще не заплатил. Потому что мой счет был открыт.

И кто-то должен был его закрыть.

Утром я проснулся от того, что солнце било прямо в лицо. Голова болела. Во рту был вкус пепла и виски. Я с трудом поднялся с пола, доплелся до ванной, умылся холодной водой.

Посмотрел на себя в зеркало. Да, выглядел я паршиво. Но это было неважно. Важно было другое. Сегодня я встретился с дочерью.

Я надел чистую рубашку. Побрился. Почистил зубы. Посмотрел на себя еще раз. Стало немного лучше. Ненамного.

В 10:30 я вышел из дома. Поймал такси. В 10:55 был у кафе «Моцарт». Сел за столик у окна. Заказал кофе. Закурил. И стал ждать.

Она пришла ровно в одиннадцать. Моя дочь. Эмили. Ей было девятнадцать. Высокая, красивая, с мамиными глазами и моими скулами. Она была одета в темное пальто, хотя на улице было тепло. Она подошла к столику. Я встал. Мы неуклюже обнялись. От нее пахло какими-то цветами и чем-то еще. Чем-то тревожным.

— Привет, пап.

— Привет.

Она села напротив. Я смотрел на нее и не мог понять, что изменилось. Что-то было не так. Что-то в ее глазах. Что-то в том, как она сжимала руки на коленях. Как она отводила взгляд.

— Ты хотела поговорить, — сказал я.

Она кивнула. Молчала. Потом подняла на меня глаза. И я увидел. Увидел то, что видел тысячи раз в глазах других людей. Боль. Страх. И что-то еще. Что-то, от чего у меня похолодело внутри.

— Папа, — сказала она тихо. — Со мной кое-что случилось.

Она замолчала. Опустила глаза. А я уже знал. Я знал это по тому, как она сидела. Как дышала. Как дрожали ее пальцы. Я знал это лучше, чем кто-либо в мире. Потому что я видел это тысячу раз.

— Я хочу подать заявление в «Обид», — сказала она. — Но мне нужна твоя помощь. Ты же там работаешь. Ты сможешь...

Она не закончила. Потому что я покачал головой.

— Я не могу, — сказал я. — Я не могу взяться за твое дело.

— Почему?

— Конфликт интересов. Это запрещено.

Она смотрела на меня. В ее глазах была растерянность. И обида. И что-то еще, чего я не хотел видеть.

— Но ты можешь кого-то посоветовать? Хорошего оценщика?

— Да, — сказал я. — Я знаю одного. Его зовут Джамаль. Он хороший. Он... Он сделает все правильно.

Она кивнула. Замолчала. Я хотел спросить, что именно случилось. Хотел, чтобы она сказала мне все. Но не мог. Язык не поворачивался.

— Я убью его, — сказал я тихо. Не ей. Себе.

Она слышала.

— Не надо, пап. Я просто хочу справедливости.

Справедливости. Я усмехнулся. Я знал, что такое справедливость. Это цифра в калькуляторе. Это сумма на банковском счете. Это подпись в документе. Это не справедливость. Это цена.

Но я ничего не сказал. Я взял ее за руку. Ее пальцы были холодными.

— Все будет хорошо, — сказал я. — Я обещаю.

Она кивнула. Но в ее глазах я видел то, что видел всегда. То, с чем сталкивался каждый день.

Она не верила мне.

И она была права.

Кафе «Моцарт»

Мы сидели молча. Кофе остывал в чашках. За окном шли люди — спешили, смеялись, разговаривали по телефонам. Они не знали. Никто никогда не знает. Ты сидишь в кафе, пьешь свой латте, а за соседним столиком рушится мир.

Эмили смотрела в чашку. Ее пальцы обхватывали фарфор так крепко, что побелели костяшки. Я смотрел на ее пальцы и думал о том, что когда-то эти руки были маленькими. Они держали мою ладонь, когда мы переходили дорогу. Они рисовали солнце с улыбкой в альбоме, который я до сих пор храню. Они обнимали меня за шею, когда я приходил с работы.

Теперь эти руки сжимали чашку с остывшим кофе, и я не знал, что сказать.

— Когда? — спросил я.

Голос прозвучал чужой. Хриплый. Как будто я сорвал связки.

— Три недели назад, — сказала она.

Три недели. Двадцать один день. Я жил, дышал, ходил на работу, считал чужую боль, пил виски, курил, спал на полу. А она проживала это одна.

— Почему ты не позвонила сразу?

Она подняла глаза. В них было то, что я боялся увидеть. Обвинение.

— А что бы ты сделал? Ты бы приехал? Ты бы помог?

Я молчал. Потому что ответа не было. Или был, но он не имел значения.

— Я не знала, что делать, — сказала она тише. — Я пошла в полицию. Они записали. Сказали — ждите. Я ждала неделю. Потом еще неделю. Потом мне позвонили и сказали, что нашли его. Он... — она запнулась. — Его отец — Роберт Донован.

Имя ударило как молоток по стеклу. Донован. Семья Донован. Инвестиционный фонд «Донован и партнеры». Состояние — девять нулей. Политические связи. Особняк в Эмеральд-Хиллз. Сын — Трэвис Донован. Двадцать два года. Золотой мальчик. Спортсмен. Красавчик. Любимец светской хроники. И насильник.

— Они сказали, что дело передадут в «Обид», — продолжила она. — Что я могу получить компенсацию. Что так будет лучше. Что суд — это долго, а так я получу деньги быстро.

— Они всегда так говорят.

— Это правда?

Я взял паузу. Закурил. Пепельница была чистой, и мне стало почему-то жалко портить ее первым пеплом. Я стряхнул пепел в пустую чашку.

— Это сложно, — сказал я. — «Обид» — это не суд. Это рынок. Ты продаешь свою боль. Они покупают твоё прощение. Цену назначает оценщик. И после оплаты ты обязана простить. Юридически. Ты подписываешь документ.

— Я знаю. Я читала.

— А если не простишь — штраф. До тридцати процентов от суммы. И уголовная статья.

Она кивнула. Она уже знала. Она пришла не за информацией. Она пришла за чем-то другим. За тем, чего я не мог ей дать.

— Ты думаешь, мне это нужно? — спросила она вдруг. — Деньги?

— Я не знаю.

— Мне не нужны деньги. Я хочу, чтобы он заплатил. По-настоящему. Чтобы он понял. Чтобы ему было так же больно.

Я смотрел на нее. Она сжимала чашку. Ее глаза горели сухим, страшным огнем. Я видел этот огонь раньше. У других. У тех, кто приходил ко мне в офис и подписывал бумаги. У тех, кто получал чеки и обещал простить. Этот огонь не гасился деньгами. Он горел и горел, пока не выжигал человека изнутри.

— Эмили, — сказал я. — Послушай меня. Я знаю эту систему. Я работаю в ней десять лет. Она несправедлива. Она ужасна. Но это единственное, что у нас есть. Если ты пойдешь через «Обид», ты получишь деньги. Много денег. Ты сможешь уехать. Начать сначала. Попробовать забыть.

— Ты забыл? — спросила она.

Вопрос был простым. Но он разрезал меня пополам.

— О чем ты?

— О том, что случилось с тобой. С нами. С мамой. Ты забыл?

Я молчал. Нет, я не забыл. Я помнил каждый день. Каждую минуту. Как мы кричали друг на друга на кухне. Как она плакала. Как дочь стояла в дверях и смотрела на нас. Ей было двенадцать. Она все понимала. Она слишком рано все поняла.

— Это другое, — сказал я.

— Нет. Это то же самое. Ты не смог простить маму. А теперь учишь меня простить его.

— Я не учу.

— Тогда что ты делаешь?

Я потушил сигарету. Чашка была полна окурков. Кофе пах горелым табаком. За соседним столиком пара обсуждала отпуск. Они смеялись. Девушка говорила: «Я хочу на море». Парень отвечал: «Море — это скучно. Давай в горы». У них были простые проблемы. Простые решения. У нас были другие.

— Я пытаюсь помочь, — сказал я. — Больше ничего.

Она долго смотрела на меня. Потом отвела взгляд в окно.

— Я пойду к Джамалю, — сказала она. — Я хочу подать заявление.

— Это твое право.

— Да. Мое право.

Она встала. Я хотел обнять ее, но что-то меня остановило. Какая-то стена. Невидимая. Но прочная. Как бронированное стекло между нами.

— Я заплачу за кофе, — сказал я.

— Не надо. Я сама.

Она бросила на стол купюру. Развернулась и пошла к выходу. Я смотрел ей вслед. Ее спина была прямой. Плечи расправлены. Она шла как солдат, который идет в атаку. Она была сильной. Сильнее меня. Сильнее всех, кого я знал.

Дверь закрылась. Я остался один. Кофе остыл окончательно. Я сидел и смотрел на чашку, в которой плавали окурки. Подошла официантка — молодая девушка с брекетами и испуганными глазами.

— Убрать?

— Да. И принесите виски.

— У нас нет алкоголя. Только кофе и десерты.

— Тогда просто убрать.

Она забрала чашки и ушла. Я сидел за пустым столом и смотрел в стену. На стене висела картина. Репродукция. Ван Гог. «Звездная ночь». Завихрения неба, желтые звезды, темные кипарисы. Он написал это в психушке. Когда его мир уже разваливался на куски. Он видел красоту в хаосе. Я видел только хаос.

Через час я вышел из кафе. Улица встретила шумом и солнцем. Ярким, безжалостным, фальшивым. Я закурил и пошел пешком. Не знаю куда. Просто шел. Мимо проносились люди. Они казались мне картонными фигурами. Декорациями. Весь город был декорацией, а я — актером, который забыл свою роль.

Ноги принесли меня к зданию «Обид». Я остановился у входа и посмотрел вверх. Тридцать семь этажей стекла и стали. Храм прощения. Фабрика боли. Конвейер, по которому человеческое страдание превращалось в цифры на банковских счетах. Я стоял и думал: «Я построил

этот храм. Я положил в него десять лет жизни. Я приносил жертвы. И вот теперь на алтаре лежит моя дочь».

Внутри было как всегда. Прохладно. Стерильно. Пахло кондиционированным воздухом и деньгами. Охранник кивнул мне. Девушка на ресепшене улыбнулась дежурной улыбкой. Я прошел в лифт. Нажал кнопку. Двери закрылись.

В лифте я увидел свое отражение в зеркальной панели. Человек в мятой рубашке. С серым лицом. С глазами, в которых не было ничего, кроме усталости. Я попытался вспомнить, когда в последний раз смеялся. Не смог.

Двери открылись. Я вышел в коридор. В конце коридора был кабинет Джамала. Я постучал.

— Войдите.

Джамаль сидел за столом. Он был моложе меня лет на десять. Высокий, красивый, с гладкой темной кожей и безупречными зубами. Он пришел в «Обид» пять лет назад и быстро поднялся. У него был талант. Талант к цифрам. К холодному, безжалостному анализу. Он не пил. Не курил. Занимался йогой. Верил в карму.

— Этан, — сказал он, поднимая глаза от планшета. — Что-то случилось?

Я сел в кресло напротив. Кресло было удобным. Слишком удобным для такого разговора.

— К тебе придет моя дочь, — сказал я. — Эмили Морроу. Сегодня или завтра.

— Твоя дочь?

— Да. Ее изнасиловали. Она хочет подать заявление.

Джамаль отложил планшет. Его лицо не изменилось. Он был профессионалом. Но в глазах мелькнуло что-то. Сочувствие? Жалость? Я не разбирал.

— Мне жаль, Этан.

— Мне тоже.

— Ты знаешь, что я не могу...

— Знаю. Конфликт интересов. Я не прошу особого отношения. Я прошу справедливости.

Просто сделай свою работу.

— Кто ответчик?

— Трэвис Донован.

Джамаль не шелохнулся. Но я увидел, как дрогнула жилка у него на виске. Он понял. Дело против Донована. Против семьи с бездонными карманами и лучшими адвокатами. Против системы, которая всегда на стороне тех, у кого деньги.

— Это будет сложно, — сказал он.

— Я знаю.

— Их адвокаты разорвут нас. Они приведут своих экспертов. Они будут давить на все инстанции.

— Ты лучший оценщик в городе. Может быть, в стране. Ты справишься.

Он долго смотрел на меня. Потом встал, подошел к окну, повернулся спиной. За окном был город. Огромный, равнодушный, сверкающий.

— Я сделаю все, что смогу, — сказал он не оборачиваясь. — Но ты должен знать: сумма может быть... не такой, как ты ожидаешь.

— Я ничего не ожидаю.

— Врешь.

Я промолчал. Он был прав. Я ожидал многого. Я ожидал справедливости. Я ожидал, что мир окажется не таким дерьмовым, каким я его видел каждый день. Я ожидал, что для моей дочери сделают исключение.

— Я назначу первичную консультацию на завтра, — сказал Джамаль. — Пусть приходит. Я возьму дело.

Я встал.

— Спасибо.

— Не благодари. Это моя работа.

Я пошел к двери, но остановился на пороге.

— Джамаль.

— Да?

— Ты веришь в то, что мы делаем?

Он повернулся. Посмотрел на меня. Его темные глаза были спокойными. Как омут, в котором ничего не отражается.

— Я верю в систему, — сказал он. — Она не идеальна. Но она лучше, чем хаос. Лучше, чем самосуд. Лучше, чем кровная месть. Мы даем людям выход. Пусть несовершенный. Пусть циничный. Но выход.

— Это не ответ.

— Другого у меня нет.

Я кивнул и вышел. Пошел по коридору, не разбирая дороги. В голове стучало: «Выход. Выход. Выход». Выход из чего? Из боли? Из ненависти? Из памяти? Деньги не стирают память. Деньги не убивают ненависть. Деньги просто заставляют тебя притворяться, что ты простил.

Я вернулся в свой кабинет. Сел за стол. Включил планшет. Открыл текущие дела. Семь файлов. Семь человеческих трагедий, которые нужно было перевести в доллары. Я начал работать. Пальцы стучали по экрану. Цифры складывались в колонки. Я считал. Как проклятый. Как машина.

В пять вечера я закончил. Отправил отчеты. Закрыл планшет. И только тогда понял, что весь день не ел. Не пил. Не курил. Я вообще не помнил, что делал последние несколько часов. Мой мозг отключился, а тело продолжало работать. Как автопилот.

Я встал. Подошел к окну. За стеклом садилось солнце. Оранжевое, тяжелое, как апельсин. Город погружался в сумерки. Зажигались огни.

Я достал телефон. Набрал номер. Гудки. Один. Второй. Третий.

— Алло.

Голос жены. Бывшей жены. Кэтрин.

— Это я, — сказал я.

— Я знаю. Определитель.

Молчание.

— Ты знаешь? — спросил я. — Про Эмили?

— Знаю.

— Почему ты мне не сказала?

— Она просила не говорить. Она не хотела, чтобы ты... чтобы ты лез в это.

— Я ее отец.

— Ты был ее отцом. Когда-то.

Удар. Прямой. В челюсть. Я закрыл глаза.

— Кэтрин, я...

— Не надо. Не звони мне больше. Если Эмили захочет, она сама с тобой свяжется.

Гудки. Я держал телефон в руке и слушал короткие гудки, похожие на удары сердца. Потом бросил его на стол. Телефон упал, экран погас.

Я взял фляжку. Сделал глоток. Потом еще. Виски больше не жег. Он просто исчезал где-то внутри, не оставляя следа.

В дверь постучали. Я не ответил. Постучали еще раз.

— Войдите.

Дверь открылась. Вошел Райан. Он выглядел взволнованным. Его идеальная стрижка немного растрепалась. Галстук съехал набок.

— Мистер Морроу, я слышал... Про вашу дочь. Мне очень жаль.

Я посмотрел на него. Он был искренен. Он действительно сочувствовал. И от этого было еще хуже.

— Спасибо, Райан. Иди домой.

— Может, вам помочь чем-то?

— Чем ты можешь помочь? Посчитаешь ее боль? Назначишь цену? Подпишешь документ о прощении?

Он молчал. Его глаза стали влажными.

— Иди, — повторил я тише. — Это не твоя вина.

Он вышел. Я остался один. Офис опустел. Только кондиционер гудел где-то под потолком. Я сидел в кресле и смотрел в стену. На стене висела фотография. Я и дочь. На пляже. Ей было пять. Мы строили замок из песка. Она смеялась. Я улыбался. Это было давно. В другой жизни.

Я снял фотографию со стены. Положил в ящик стола. Лицом вниз. Чтобы не смотрела.

Домой я поехал поздно. Город горел огнями. Рекламные щиты кричали о новых товарах. «Купи счастье». «Купи любовь». «Купи прощение». Я закрыл глаза. Таксист включил радио. Пел какой-то старый блюз. Грустный. Тягучий. Как моя жизнь.

В квартире было темно. Я не стал включать свет. Прошел на кухню, открыл холодильник. Пусто. Только бутылка виски в морозилке. Я взял ее. Сел на пол у окна. Начал пить.

За окном мигали огни самолета. Он уходил в небо, унося кого-то в другую жизнь. Я смотрел на него и думал: «Вот бы сейчас сесть в самолет и улететь. Куда угодно. Где нет «Обид». Где нет оценщиков. Где нет формулы прощения».

Но я знал, что такого места нет. Эта система была везде. Она проникла во все страны. Во все города. Во все головы. Мы научились измерять неизмеримое. Взвешивать невесомое. Оценивать бесценное.

Я пил и вспоминал. Первые годы работы. Первые дела. Я тогда верил. Я думал: «Вот оно. Вот справедливость. Человек страдает — человек получает деньги. Обидчик платит — и справедливость восстановлена». Я гордился собой. Я считал, что делаю мир лучше.

Потом было первое сомнение. Дело пожилой женщины. У нее убили сына. Единственного. Он кормил ее. Она осталась одна. Я назначил компенсацию. Хорошую компенсацию. Самую высокую по тем временам. Она получила деньги. Подписала документ о прощении. А через месяц умерла. От инсульта. Врач сказал: «Сердце не выдержало». Я знал другое. Она не простила. Она просто не могла жить с этой ложью.

Таких случаев было много. Люди получали чеки, покупали дома, машины, уезжали в отпуск. Но в их глазах навсегда оставалось что-то мертвое. Как у рыб на прилавке. Они выполнили условия контракта. Но прощение не пришло. Потому что прощение нельзя купить. Его можно только дать. Бесплатно.

Я докурил последнюю сигарету. Бросил окурки в пустую бутылку. Встал. Подошел к столу. Там лежал старый фотоальбом. Я не открывал его пять лет. Сейчас открыл.

Первая страница. Эмили в роддоме. Маленький красный комочек. Она кричит. Я держу ее на руках и улыбаюсь. У меня тогда еще были волосы.

Вторая страница. Первый день рождения. Она в смешном колпачке. Торт с одной свечой. Она пытается задуть свечу, но не может. Я помогаю.

Третья страница. Мы на карусели. Она смеется. Я боюсь высоты, но терплю ради нее.

Я листал дальше. Страницы мелькали. Вот она идет в школу. Вот играет в школьном спектакле. Вот на выпускном. Я не был на выпускном. У меня было срочное дело. Убийство. Двое детей. Я не мог пропустить. Я всегда не мог пропустить.

Я закрыл альбом. Убрал его обратно в стол. Лег на диван. Уставился в потолок.

Мысль пришла сама. Тихая, как шаги убийцы: «Я виноват. Если бы я был рядом. Если бы я защищал ее, а не чужих людей. Если бы я был отцом, а не оценщиком. Этого бы не случилось».

Я закурил. Руки дрожали. Пепел сыпался на грудь. Я не стряхивал. Пусть горит. Пусть все горит.

Ночью мне приснился сон. Я стоял на берегу моря. Море было черным. Небо — красным. По воде плыли цифры. Тысячи цифр. Они складывались в формулы, распадались и снова складывались. Я пытался прочитать их, но не мог. Они ускользали, как песок сквозь пальцы.

Потом из воды вышла Эмили. Она была в белом платье. Мокром. Грязном. Она смотрела на меня и молчала. Я хотел подойти к ней, но ноги не слушались. Я кричал ей: «Прости меня!» — но она не слышала. Или не хотела слышать.

А потом она заговорила. Ее голос был как ветер. Как шелест листьев. Как скрип ступеней в том доме, где убили девочку с единорогом.

— Сколько? — спросила она. — Сколько стоит мое прощение, папа?

И я проснулся. В холодном поту. С бьющимся сердцем. С ощущением, что я падаю в бездну, у которой нет дна.

Было утро. Солнце било в окно. Я сел на диване, обхватил голову руками. Сон не уходил. Он стоял перед глазами, как ожог на сетчатке.

Я пошел в ванную. Встал под душ. Горячая вода хлестала по спине. Я стоял и думал. Думал о том, что будет дальше. Джамаль сделает свою работу. Он назначит цену. Донован заплатит. И Эмили должна будет простить.

А если не сможет?

Я знал ответ. Я видел это десятки раз. Люди, которые не могли простить, сходили с ума. Медленно или быстро. Они пили. Принимали таблетки. Бросались под поезд. Или шли к обидчику и делали то, что нельзя делать по закону.

Я выключил душ. Вытерся. Посмотрел в зеркало на свое отражение. Оттуда смотрел старик. Больной. Уставший. Одинокий.

— Ты должен ее спасти, — сказал я отражению.

Отражение ничего не ответило.

Я оделся. Взял телефон. Набрал Джамалю.

— Слушаю.

— Это Этан. Когда у тебя консультация с Эмили?

— Сегодня в час.

— Я приду. Я буду ждать в коридоре.

— Это не обязательно.

— Я знаю. Но я буду.

Я положил трубку. Вышел из квартиры. Спустился вниз. Поймал такси. Назвал адрес «Обид». И поехал. Навстречу тому, чего боялся больше всего. Навстречу правде, которую знал, но не хотел признавать.

Система, которой я служил десять лет, добралась до моей семьи. И теперь я должен был увидеть, как она перемалывает мою дочь. Мою единственную дочь. Мою Эмили.

Такси везло меня через город, а я смотрел в окно и считал. По привычке. По проклятой профессиональной привычке. Я считал прохожих и думал: «У этого больная спина — производственная травма. У этой развод — моральный ущерб. У того умерла мать — наследство. У этой изменил муж — компенсация».

Весь город состоял из пострадавших и обидчиков. Весь мир был одним большим делом «Обид». И я был в нем не судьей. Не спасителем. Я был просто счетоводом. Бухгалтером чужой боли.

Машина остановилась у входа. Я вышел. Поднял голову. Стеклянная башня уходила в небо, сверкая на солнце. Как игла. Как шприц, готовый впрыснуть яд.

Я вошел внутрь. Поднялся на нужный этаж. Сел в кресло у кабинета Джамалы. И стал ждать.

Ждать свою дочь. Ждать приговора. Ждать цифры, которая изменит все.

Формула

Коридор был длинным и белым. Свет ламп лился с потолка ровно, безжалостно, выбеливая лица до больничной бледности. Я сидел в кресле у двери кабинета Джамала и ждал. Кресло было пластиковым, неудобным, спроектированным так, чтобы никто не засиживался. Я засиживался.

Напротив меня на стене висел экран. На нем крутили рекламу «Обид». Молодая женщина с идеальной улыбкой смотрела в камеру и говорила: «Меня предали. Мне было больно. Но «Обид» помог мне получить компенсацию и двигаться дальше. Теперь я свободна». Свободна. Это слово звучало как приговор. Я смотрел на экран и думал: «Ты не свободна, дура. Ты просто продала свою боль в рассрочку. Она вернется. Они всегда возвращаются».

В коридоре было тихо. Только гул кондиционера и шаги редких сотрудников. Все проходили мимо меня, опуская глаза. Они знали. Здесь всегда все всё знали. Новости в «Обид» распространялись как зараза. Дочь Морроу. Донован. Скандал. Я чувствовал их взгляды на затылке, даже когда они отворачивались.

Часы на стене показывали без пяти час. Она опаздывала. Или не опаздывала. Может, она вообще не придет. Может, она передумала. Может, она решила, что система, в которой работает ее отец, не стоит ее надежд.

Но она пришла.

Я услышал ее шаги раньше, чем увидел ее. Твердые, быстрые. Шаги человека, который принял решение. Она вышла из-за поворота, и я встал. На ней было то же темное пальто, что и в кафе. Волосы собраны в хвост. Лицо бледное, но спокойное. Слишком спокойное. Так выглядят люди, которые уже сожгли все мосты.

— Привет, — сказал я.

— Ты здесь.

— Да.

— Я думала, ты не придешь.

— Я всегда прихожу.

Она посмотрела на меня. В ее взгляде было что-то новое. Не гнев. Не обида. Что-то похожее на жалость. Она жалела меня. Моя дочь жалела меня, сидящего в коридоре, как пес, который ждет хозяина.

— Не надо было, — сказала она.

— Я хотел быть рядом.

— Ты и так рядом. Всю жизнь. На расстоянии.

Дверь кабинета открылась. Вышел Джамаль. Он был в темном костюме, белой рубашке, галстуке цвета морской волны. Безупречен, как всегда. Он посмотрел на Эмили, потом на меня.

— Эмили Морроу? Проходите, пожалуйста.

Она кивнула и пошла к двери. На пороге обернулась.

— Ты не зайдешь?

— Мне нельзя, — сказал я. — Конфликт интересов.

— Да, конечно. Конфликт.

Она зашла. Дверь закрылась. Я снова сел. Кресло скрипнуло подо мной. Я достал сигарету, но вспомнил, что курить в здании нельзя. Убрал обратно. Руки дрожали. Я сжал их в кулаки и засунул в карманы.

Время потекло иначе. Медленно, как смола. Каждая минута была длиной в час. Я смотрел на дверь и пытался представить, что происходит там, внутри. Джамаль задает вопросы. Протокольные. Холодные. Где это случилось. Когда. При каких обстоятельствах. Сколько нападав-

ших. Было ли оружие. Сколько времени продолжалось. Она отвечает. Ее голос ровный. Она старается не плакать. Она сильная. Слишком сильная для девятнадцати лет.

Я знал эти вопросы наизусть. Я сам задавал их тысячу раз. Тысячу раз я сидел по ту сторону стола и смотрел, как люди ломаются. Как они плачут. Как они кричат. Как они замолкают и уходят в себя. Я был профессионалом. Я умел отделять факты от эмоций. Я гордился этим.

Теперь я сидел в коридоре и ничего не мог.

Через сорок минут дверь открылась. Вышла Эмили. За ней Джамаль. Она не плакала. Ее лицо было как маска. Но я видел ее руки. Они дрожали. Мелко-мелко, как листья на ветру.

— Я закончил предварительный опрос, — сказал Джамаль. — Дальше будет экспертиза. Психологическая. Медицинская. Затем оценка.

— Сколько времени это займет? — спросил я.

— Неделю. Может, две.

— Я думала, это быстрее, — сказала Эмили.

— Мы должны быть точны. Цена должна быть справедливой.

Цена. Справедливой. Эти слова резали слух. Я стоял и смотрел на Джамаль. Он был спокоен. Профессионален. Он делал свою работу. Я сам был таким же. Еще вчера.

— Я позвоню, когда будут результаты, — сказал Джамаль.

Эмили кивнула. Повернулась и пошла по коридору. Я догнал ее у лифта.

— Я провожу тебя.

— Не надо.

— Эмили.

Она повернулась. Ее глаза блестели. Но слез не было. Она держала их внутри, как плотина держит воду. Я знал, что будет, когда плотина рухнет. Знал слишком хорошо.

— Что? Что ты хочешь мне сказать? Что все будет хорошо? Что система работает? Что деньги решат проблему?

— Я хочу сказать, что я здесь.

— Ты здесь. В коридоре. Ты всегда в коридоре, папа. Ты никогда не заходишь внутрь.

Двери лифта открылись. Она вошла. Двери закрылись. Я остался стоять. На стене мигала реклама «Обид». Та же женщина с идеальной улыбкой говорила: «Теперь я свободна».

Я пошел обратно в кабинет Джамали. Он сидел за столом и что-то печатал на планшете. Когда я вошел, он поднял голову.

— Она сильная, — сказал он.

— Знаю.

— Дело будет сложным. Я уже получил звонок от адвокатов Донована. Они настаивают на упрощенной процедуре. Без суда. Без огласки.

— И что ты ответил?

— Что решение принимает потерпевшая.

— Они будут давить.

— Будут. У них есть рычаги. Связи. Деньги. Но у нас есть формула. А формула не врет.

Я сел в кресло, где сорок минут назад сидела моя дочь. Кресло еще хранило ее тепло.

Или мне казалось.

— Расскажи мне про формулу, — сказал я.

— Ты знаешь ее лучше меня.

— Расскажи еще раз.

Джамаль откинулся в кресле. Его глаза стали чуть уже. Он понял. Он всегда все понимал.

— Продолжительность страдания, — начал он. — Мы фиксируем точное время события. От начала до конца. Каждая минута. Каждая секунда. В деле твоей дочери — сорок пять минут. Это подтверждено записями камер наблюдения. Он вел ее через парк. Она пыталась убежать. Он догнал. Потом был подвал. Старое здание у реки.

— Хватит.

— Ты просил.

— Дальше. Без деталей.

— Интенсивность. Мы используем шкалу Файнберга-Ли. Физическое насилие, психологическое давление, угрозы, унижение. По предварительной оценке — 9 из 10. Степень тяжести телесных повреждений — средняя. Психологическая травма — глубокая, требуется экспертное заключение.

— Дальше.

— Социальный статус. Эмили Морроу — студентка второго курса. Потенциальный доход — выше среднего. Социальная категория — В. Коэффициент 1,4.

— Дальше.

— Необратимость. Мы учитываем долгосрочные последствия. Посттравматическое расстройство. Нарушение социальной адаптации. Влияние на будущую жизнь. Коэффициент 0,8.

— И сумма?

Джамаль помолчал. Посмотрел на свой планшет. Потом на меня.

— По предварительным расчетам — от полутора до двух миллионов.

— Долларов?

— Да.

Я встал. Подошел к окну. За стеклом был город. Тот же, что всегда. Башни, дороги, машины, люди. Два миллиона долларов. Много это или мало? Я не знал. Я потерял способность понимать цену. Я слишком долго переводил страдание в цифры.

— Это хорошая сумма, — сказал Джамаль. — Выше среднего по таким делам.

— Хорошая сумма, — повторил я.

— Этан, я понимаю, что ты чувствуешь.

— Нет. Не понимаешь. У тебя нет детей.

Он замолчал. Это был удар ниже пояса, но я не жалел. Я устал жалеть. Я устал понимать. Я устал.

— Я сделаю все, чтобы сумма была максимальной, — сказал он наконец. — Это все, что я могу.

Я повернулся.

— Этого недостаточно.

— Это система. Ты сам ее строил.

Я посмотрел на него. Он был прав. Я сам ее строил. Я сам писал методички. Я сам утверждал коэффициенты. Я сам сидел в комиссии, которая принимала шкалу Файнберга-Ли. Я голосовал «за». Я считал, что это прогресс. Что это цивилизованный подход. Что это лучше, чем кровная месть.

— Ты прав, — сказал я. — Я ее строил.

Я вышел из кабинета. Пошел по коридору. Спустился на лифте. Вышел на улицу. Солнце било в глаза. Я закурил. Руки все еще дрожали.

Домой я не поехал. Пошел в бар «У Джо». Он был открыт, хотя еще не было и трех. Джо стоял за стойкой и протирал стаканы. Он посмотрел на меня и ничего не сказал. Просто налил виски. Двойной. Без льда.

Я сел на свой стул. Закурил. Выпил. Заказал еще. Джо налил.

— Ты сегодня рано, — сказал он.

— Сегодня особый день.

— Плохой?

— Хуже некуда.

Он кивнул и отошел. Он умел не задавать лишних вопросов. За это я его и ценил. За это я сюда и ходил.

Я пил и думал о цифрах. О том, что два миллиона долларов — это цена изнасилования моей дочери. О том, что за эти деньги она должна будет простить. О том, что если она не простит, с нее взыщут штраф. О том, что система, которую я строил, теперь перемальвает мою семью.

Где-то на третьем стакане я начал смеяться. Тихо. Потом громче. Джо посмотрел на меня с опаской.

— Этан, с тобой все в порядке?

— В полном. Я просто понял одну вещь.

— Какую?

— Я всю жизнь считал, что справедливость имеет цену. А теперь узнал, что цена моей дочери — два миллиона долларов. Это же выгодная сделка, правда? Рыночная цена. Никто не в убытке.

Джо ничего не сказал. Он просто налил мне еще. Бесплатно. Это был его способ сказать «сочувствую».

Я пил до вечера. В баре появились люди. Офисные клерки после работы. Парочки на свиданиях. Одинокие мужчины, такие же, как я. Все они что-то праздновали или заливали. Жизнь продолжалась. Она всегда продолжается.

Я смотрел на них и думал: «У каждого из вас есть своя боль. Своя обида. Свой непрощенный грех. И вы все носите это в себе, потому что деньги не помогают. Они никогда не помогают. Они просто отвлекают. Как аспирин при раке».

Часов в девять я вышел из бара. Улица встретила прохладой. Я пошел пешком, не разбирая дороги. Ноги сами несли меня куда-то. Через двадцать минут я понял куда. Я стоял у дома, где раньше жила моя семья. Наш старый дом. Три этажа. Кирпичный фасад. Свет в окнах гостиной горел.

Я стоял на другой стороне улицы и смотрел. За занавесками двигались тени. Кэтрин. Может быть, Эмили. Я не знал. Я просто стоял и смотрел, как вор, который не может проникнуть внутрь.

Я простоял час. Может, больше. Потом свет погас. Дом погрузился в темноту. Я развернулся и пошел прочь.

Неделя прошла как в тумане. Я ходил на работу. Смотрел дела. Считал цифры. Все как обычно. Только внутри что-то сломалось. Какая-то шестеренка, которая крутилась десять лет, вдруг заклинила. Я смотрел на потерпевших и видел свою дочь. Я смотрел на цифры и видел ценник. Я смотрел на формулу и видел ложь.

Райан заметил, что со мной что-то не так. Он старался быть полезным. Приносил кофе. Брал на себя часть моих дел. Не задавал вопросов. Но в его глазах я видел тревогу.

На пятый день он не выдержал.

— Мистер Морроу, я могу чем-то помочь?

— Нет.

— Вы выглядите...

— Как?

— Уставшим.

— Я устал, Райан. Я очень устал.

Он помялся и вышел. А я остался сидеть над очередным делом. ДТП. Женщина сбила ребенка. Ей назначили штраф. Она заплатила. Родители ребенка должны простить. Они подписали документы. Но в отчете было примечание: «Потерпевшие выражают сомнение в возможности исполнения обязательств по прощению». Юридическим языком это означало: они не простят. Никогда. Им придется заплатить штраф. Потом еще один. Потом на них подадут в суд. Их признают мошенниками. Они потеряют все.

Я читал это и думал: «Вот оно. Вот результат моей работы. Мы не даем людям прощение. Мы даем им долги».

На седьмой день позвонил Джамаль.

— Расчет готов.

— Я еду.

Я приехал через двадцать минут. Поднялся на нужный этаж. Вошел в кабинет. Там уже сидела Эмили. Она была бледнее обычного. Под глазами темные круги. Она не спала ночами. Я знал это. Я тоже не спал.

Джамаль стоял у окна. В руках у него был планшет.

— Я зачитаю официальное заключение, — сказал он.

— Читай, — сказала Эмили.

— По делу номер 48102-С, истец Эмили Морроу против ответчика Трэвиса Донована. Оценка морального ущерба, причиненного в результате преступления. Продолжительность страдания — 45 минут. Интенсивность по шкале Файнберга-Ли — 9,2. Социальный статус истца — категория В, коэффициент 1,4. Необратимость последствий — 0,8. Дополнительные повышающие коэффициенты: особая жестокость — 0,3. Угроза жизни — 0,2. Итоговая сумма компенсации: два миллиона сто пятьдесят тысяч долларов.

Тишина. Слышно было, как гудит кондиционер. Как тикают часы на стене. Как дышит Эмили — часто, прерывисто.

— Два миллиона сто пятьдесят тысяч, — повторила она. — Это все?

— Это максимальная сумма, которую я смог обосновать, — сказал Джамаль. — Адвокаты Донована уже оспаривают ее. Они предлагают миллион восемьсот. Но я думаю, мы сможем отстоять.

— Вы сможете отстоять, — сказала она. — А я смогу простить?

Джамаль молчал. Я молчал. Вопрос висел в воздухе, как приговор.

— Ты не обязана прощать, — сказал я.

— Обязана. Вы все мне говорите, что обязана. Закон. Договор. Система. Я получу деньги и должна буду сказать: «Я прощаю». Поставить подпись. Улыбнуться в камеру. И жить дальше.

— Эмили...

— Я не смогу, папа. Я не смогу простить его. Ни за какие деньги.

Джамаль кашлянул.

— Эмили, я понимаю ваши чувства. Но вы должны осознавать последствия. Если вы подпишете соглашение и не выполните обязательства по прощению, вам грозит штраф. До тридцати процентов от суммы. И уголовное дело.

— То есть я должна простить насильника, иначе меня посадят?

— Таков закон.

Она встала. Посмотрела на меня. В ее глазах был тот самый огонь. Сухой. Страшный. Негасимый.

— И ты это одобряешь? — спросила она. — Ты, мой отец, который должен защищать меня?

— Я не одобряю.

— Но ты работаешь на них. Ты считаешь их цифры. Ты часть этого.

— Да. Я часть этого.

Она покачала головой. Взяла сумочку. Пошла к двери.

— Куда ты? — спросил я.

— Домой. Мне нужно подумать.

— Я отвезу тебя.

— Не надо.

— Эмили, пожалуйста.

Она остановилась. Повернулась. В ее глазах были слезы. Первые слезы за все время. Плотина рухнула.

— Почему ты не защитил меня, папа? — спросила она тихо. — Почему тебя не было рядом?

Я не ответил. Не мог. Слова застряли в горле.

Она вышла. Хлопнула дверь. Я остался стоять. Джамаль молчал. Часы тикали.

— Ты не мог ничего сделать, — сказал он наконец.

— Я мог. Я мог быть отцом, а не оценщиком. Я мог приходить домой вовремя. Я мог не пить. Я мог не сбегать в работу от проблем. Я мог.

— Это ничего бы не изменило.

— Мы не знаем. Мы никогда не знаем.

Я вышел из кабинета. Пошел по коридору. Спустился вниз. На улице шел дождь. Мелкий, противный, осенний. Я стоял под козырьком и курил. Дождь барабанил по жести. Люди пробегали мимо, закрываясь газетами и сумками.

Я думал о дочери. О ее вопросе. О том, что у меня нет ответа. И не будет. Потому что ответ — это не слова. Ответ — это жизнь, которую я прожил. Жизнь, в которой я считал чужую боль, но не замечал свою. Жизнь, в которой я оценивал чужие трагедии, но пропустил свою собственную.

Два миллиона сто пятьдесят тысяч. Цена изнасилования моей дочери. Цена ее сломанной жизни. Цена моего отсутствия. Цена всего.

Я докурил, бросил окурочек в лужу и пошел под дождем. Без зонта. Без цели. Просто шел, промокая до нитки, и думал о том, что формула не работает. Она никогда не работала. Мы просто притворялись, что работает. Мы просто делали вид, что боль можно измерить, а прощение — купить.

Но боль нельзя измерить. А прощение нельзя купить. Это я знал теперь точно. Потому что моя собственная боль не имела цены. И мое собственное прощение не имело цены. И я не знал, смогу ли когда-нибудь простить себя.

За углом горела неоновая вывеска. Бар «У Джо». Ноги сами принесли меня сюда. Я толкнул дверь. Зашел. Сел на свой стул. Джо посмотрел на меня. Налил виски без заказа.

— Ты промок, — сказал он.

— Дождь.

— Я вижу. Что-то случилось?

— Случилось то, что должно было случиться. Я понял, что я — никто. Я всю жизнь оценивал чужую боль, а теперь моя собственная дочь не хочет меня видеть.

Джо оперся о стойку.

— Знаешь, Этан, я много лет слушаю пьяных людей. Они говорят разное. Но чаще всего — правду. И знаешь, что я понял? Прощение — это не то, что можно дать по принуждению. И не то, что можно купить. Прощение — это когда ты просыпаешься утром и понимаешь, что больше не злишься. Не потому что тебе заплатили. А потому что ты устал злиться.

— А если не устал?

— Тогда не прощаешь. И живешь с этим. И это тоже нормально.

Я выпил. Закурил.

— Ты мудрый, Джо.

— Я просто бармен. Но я видел много людей, которые пытались простить за деньги. И знаешь, что? У них не получалось. Никогда.

Я сидел и думал над его словами. Дождь барабанил по стеклу. В баре было тепло и темно. Пахло табаком и виски. Где-то в углу играло радио. Блюз. Грустный, тягучий, как моя жизнь.

— Джо, — сказал я.

— А?

— Налей еще.

Он налил. Я выпил. И мир немного смягчился. Совсем ненамного. Но достаточно, чтобы я мог дышать.

Ночью я вернулся домой. Квартира встретила пустотой. Я включил свет. Прошел на кухню. На столе лежал конверт. Я не помнил, чтобы оставлял его там. Надписей не было. Я открыл. Внутри была фотография. Мы с Эмили. На море. Ей восемь лет. Она держит в руках ракушку и смеется.

Я перевернул фотографию. На обороте было написано ее почерком: «Я люблю тебя, папа. Но я больше не могу».

Я сел на пол. Закрыв лицо руками. И заплакал. Впервые за десять лет. Слезы были горячими, солеными, чужими. Я ревел как ребенок, которого бросили в темноте. Я ревел о дочери. О жене. О себе. О всех тех людях, которых я не спас. О всех тех, кому я назначил цену, но не дал прощения.

Я ревел, пока не кончились слезы. Потом лег на пол и уснул. И мне ничего не снилось.

Утром я проснулся с ясной головой. Такое бывает после долгого плача. Как будто гроза прошла и воздух стал чистым. Я встал. Умылся. Посмотрел в зеркало. Оттуда смотрел тот же старик, что и вчера. Но что-то изменилось. В глазах появилось что-то новое. Решимость? Отчаяние? Я не знал.

Я оделся. Вышел из дома. Поехал в «Обид». Поднялся в кабинет. Включил компьютер. И начал писать заявление.

«Я, Этан Морроу, оценщик первой категории, прошу освободить меня от должности по собственному желанию».

Я допечатал, распечатал, подписал. Положил лист в конверт. И пошел к начальнику отдела.

В коридоре меня встретил Райан.

— Мистер Морроу, у вас совещание через час.

— Отмени.

— Что-то случилось?

— Я ухожу.

Он замер. Его глаза расширились.

— Уходите? Совсем?

— Совсем.

— Но... почему?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.